# МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

 **«**Я земной шар чуть не весь обошел», − писал Маяковский летом-осенью 1927 года в поэме «Хорошо!». Всего в 1922-1929 годах Маяковский совершил девять заграничных путешествий. **«**Моя последняя дорога — Москва, Кенигсберг (воздух), Берлин, Париж, Сантназер, Пижон, Сантандер, Мыс-ла-Коронь (Испания), Гавана (остров Куба), Вера-Круц, Мехико-сити, Лоредо (Мексика), Нью-Йорк, Чикаго, Кливланд (Северо-Американские Соединенные Штаты), Гавр, Париж, Берлин, Рига, Москва. Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг. Езда хватает сегодняшнего читателя. Вместо выдуманных интересностей о скучных вещах, образов и метафор — вещи, интересные сами по себе. Я жил чересчур мало, чтобы выписать правильно иподробно частности. Я жил достаточно мало, чтобы верно дать общее». И каждая поездка давала материала и для стихов, и для прозаической публикации.

Слова «компред стиха» − из стихотворения «Вызов» (1925), одно из стихов цикла об Америке (1925-1926). Цикл родился в результате путешествия через Атлантический океан в страны Западного полушария. Это была самая длительная, почти полугодовая поездка Маяковского за рубеж. Он отправился из Москвы в Западную Европу 25 мая – Кенигсберг, Берлин, Париж… Некоторое время в Париже ожидал американскую визу. Не дождавшись, 21 июня отплыл на пароходе «Эспань» в Мексику. 18 дней океана. «Океан — дело воображения. И на море не видно берегов, и на море волны больше, чем нужны в домашнем обиходе, и на море не знаешь, что под тобой. Но только воображение, что справа нет земли до полюса и что слева нет земли до полюса, впередисовсем новый, второй свет, а под тобой, быть может, Атлантида, — только это воображение есть Атлантический океан. Океан надоедает, а без него скушно. Потом уже долго-долго надо, чтобы гремела
вода, чтоб успокаивающе шумела машина, чтоб
в такт позванивали медяшки люков.

...Жара страшная.

Пили воду — и зря: она, сейчас же выпаривалась,
потом.

Сотни вентиляторов вращались на оси и мерно
покачивали и крутили головой — обмахивая пер-
вый класс». И размышления о неравенстве пассажиров вполне в духе Маяковского.

«Третий класс теперь ненавидел первый еще и
за то, что ему прохладнее на градус.

Утром, жареные, печеные и вареные, мы подо-
шли к белой — и стройками и скалами — Гаване.
Подлип таможенный катерок, а потом десятки ло-
док и лодчонок с гаванской картошкой — анана
сами. Третий класс кидал деньгу, а потом выужи-
вали ананас веревочкой.

На двух конкурирующих лодках два гаванца ругались на чисто русском зыке: «Куда ты прешь, со своей ананасиной, мать твою...»

Гавана. Стояли сутки. Брали уголь. В Вера -
Круц угля нет, а его надо на шесть дней езды,
туда и обратно по Мексиканскому заливу. Пер-
вому классу пропуска на берег дали немедленно
и всем, с заносом в каюту. Купцы в белой чесуче
сбегали возбужденно с дюжинами чемоданчиков— образцов подтяжек, воротничков, граммофонов,
фиксатуаров и красных негритянских галстуков.
Купцы возвращались ночью пьяные, хвастаясь
дареными двухдолларовыми сигарами.

Второй класс сходил с выбором. Пускали на бе-
рег нравящихся капитану. Чаще — женщин.

Третий класс не пускали совсем — и он торчал
на палубе, в скрежете и грохоте углесосов,
в черной пыли, прилипшей к липкому поту, под-
тягивая на веревочке ананасы.

К моменту спуска полил дождь, никогда не ви-
данный мной тропический дождина.

Что такое дождь?

Это — воздух с прослойкой воды.

Дождь тропический — это сплошная вода с про-
слойкой воздуха».

Из Мексики после 20-дневного пребывания там поэту наконец-то удалось въехать в США. Здесь он пробыл три месяца.

«Я на берегу. Я спасаюсь от
дождя в огромнейшем двухэтажном пакгаузе.
Пакгауз от пола до потолка начинен „виски".
Таинственные надписи: «Кинг Жорж», «Блек энд
Уайт», «Уайт хорс» — чернели на ящиках спирта,
контрабанды, вливаемой отсюда в недалекие трез-
вые Соединенные Штаты.

За пакгаузом — портовая грязь кабаков, публич-
ных домов и гниющих фруктов.

За портовой полосой — чистый, богатейший город
мира.

— Москва. Это в Польше? — спросили меня
 в американском консульстве Мексики.

— Нет,— отвечал я, — это в СССР.

Никакого впечатления.

Позднее я узнал, что если американец заостри-
вает только кончики, так он знает это дело лучше
всех на свете, но он может никогда ничего не
слыхать про игольи ушки. Игольи ушки — не его
специальность, и он не обязан их знать.

Лоредо — граница С. А. С. Ш.

Я долго объясняю на ломанейшем (просто
осколки) полуфранцузском, полуанглийском языке
цели и права своего въезда.

Американец слушает, молчит, обдумывает, не
понимает и, наконец, обращается по-русски:

— Ты — жид?
Я опешил.

В дальнейший разговор американец не вступил
за неимением других слов.

Помучился и минут через десять выпалил:
— Великороссь?
— Великоросс, великоросс, — обрадовался я, установив в американце отсутствие погромных настроений. Голый анкетный интерес.

Американец подумал и изрек еще через десять
минут:

— На комиссию».

Один джентльмен, бывший до сего момента штатским пассажиром, надел форменную фуражку и оказался эмиграционным полицейским.

Полицейский всунул его и вещи в автомобиль-
биллбиббиль. Подъехали, вошли в дом, в котором
под звездным знаменем сидел человек без пид-
жака и жилета.

3а человеком были другие комнаты с решетками.
В одной поместили Маяковского и вещи.

Попробовал выйти − предупредительными
лапками лапками загнали обратно.

Сидел четыре часа.

Пришли и справились, на каком языке буду изъясняться.

Из застенчивости (не ловко не знать ни одного
язык) назвал французский.

Ввели в комнату.
Четыре грозных дяди и француз-переводчик.

Поэту ведомы простые французские разговоры
о чае и булках, но из фразы, сказанной французом, он не понял «ни черта» и только судорожно
ухватился за последнее слово, стараясь вникнуть
интуитивно в скрытые смысл.

Пока вникал, француз догадался, что тот ничего
не понимает, американцы замахали руками и увели
его обратно.

Сидя еще два часа, Маяковский нашел в словаре последн-
нее слово француза.

Оно оказалось:
 — Клятва.

Клясться по-французски он не умел и поэтому ждал, пока найдут русского.

Через два часа пришел француз и возбужденно утешал прибывшего:

— Русского нашли. Бон гарсон.

Те же дяди. Переводчик — худощавый флегматичный еврей, владелец мебельного магазина.

«— Мне надо клясться, — робко заикнулся я, чтобы начать разговор.

Переводчик равнодушно махнул рукой:

— Вы же скажете правду, если не хотите врать, а если же вы захотите врать, так вы же все равно не скажете правду.

Взгляд резонный.

Я начал отвечать на сотни анкетных вопросов:
девичья фамилия матери, происхождение дедушки
адрес гимназии и т. д. Совершенно позабытые
вещи!

Переводчик оказался влиятельным человеком,
а, дорвавшись до русского языка, я, разумеется,
понравился переводчику».

Короче: впустили в страну на 6 месяцев,
как туриста, под залог в 500 долларов.

— Владимир Владимирович как вам нравится Америка?

Маяковский бросает взгляд сквозь окно на 5-ю Авеню. И его глубокий низкий голос, перекрывающий уличный шум, произносит:

—Эх, скучно тут у вас... Как мне нравится Америка? — Пойдемте, пройдемся по Пятой Авеню.

...Шумят автомобили, кричат рекламы. Маяковский говорит:

— Вот мы «отсталый», «варварский» народ. Мы только еще начинаем. Трактор для нас большое событие, еще одна молотилка — важное приобретение, новая электрическая станция — совсем замечательная вещь... И все же здесь тоскливо, а у нас весело; тут все дышит умиранием, тленом, у нас бурлит жизнь, у нас подъем. До чего тут только не додумались? До искусственного грома. Тем не менее, прислушайтесь, и вы услышите мертвую тишину. Столько электрической энергии для освещения, что солнце не может с ним конкурировать, а все же темно. Такой творческий язык, с тысячами могучих газет и журналов, все же косноязычный, не красноречивый. Рокфеллеры, Морганы — вся Европа у них в долу! — тресты над трестами, и — такая бедность!»

Ему кажется, что, идя тут по богатейшей улице на свете, с высокими домами, дворцами, отелями и магазинами и массами людей,
блуждает по развалинам, и его гнетет тоска.
Почему этого не чувствует в Москве, на улицах с разрушенными мостовыми, с безнадзорными
строениями, с переполненными, разбитыми трам
ваями? Ответ простой. Там кипит энергия всего
трудящегося народа — коллектива. Каждый новый
камень, каждая новая доска есть результат целе
устремленной коллективной инициативы. Тут нет
энергии, только одна сутолока сбитой с толку
массы угнетенных людей, которых кто-то гонит,
как стадо, то в подземку, то из подземки, то на
воздушную железную дорогу, то с воздушной
железной дороги. Все грандиозно, головокружительно. Вся жизнь — «Луна-Парк», карусели, аэро-
план, привязанный цепью к столбу, любовная
аллея, которая должна повести в рай, речка,
которую наполняют насосами. И все это для того,
чтобы заморочить людям головы, выпотрошить их
карманы, не дать возможности людям мыслить и
проявлять инициативу. Так и дома, и на фабрике,
и в увеселительных местах. Радости отмерены
аршином, печаль отмерена аршином. Даже дето-
рождение — профессия... Разве это свобода? Вы
помните мою «Мистерию Буфф»?

 — Кому бублик, а кому дырка от бублика -
это и есть демократическая республика. И невольно напрашивается сравнение со страной советов.

Вот она, Америка, этот «биг, вери биг Сити»
(большой, очень большой город)... Наши сто
пятьдесят миллионов, — вот кто строит настоящий
индустриализм, механизирует жизнь. Только восемь
лет прошло, восемь лет восстания, войны против
старого, а какой переворот в умах, какой взлет
культуры во всех областях! Возьмите наши «муви» (фильмы) и ваши. У нас пока еще бедная техника, тусклое освещение. Тут — последнее слово
техники с беспредельным светом; зато у нас насыщено ломкой старья, стремлением к новому, а здесь поганенькая «мораль», сентиментальная
мазня, как будто из глухой провинции, из средневековья. Как может такая «мораль» сочетаться
с высшими достижением индустрии, с радио?»

Поэт сумел оценить и деловой настрой США, и достижения американской техники («Бродвей», «Бруклинский мост»). Но и здесь его оценка буржуазной Америки однозначны:

Я в восторге

от Нью-Йорке города.

Но

кепчонку

не сдерну с виска.

У советских

собственная гордость:

на буржуев

смотрим свысока.

«Бродвей», 6 августа 1925 года, Нью-Йорк.

По ходу путешествия и выстроилась цепочка стихов: «Испания», «6 монахинь», «Атлантический океан», «Мелкая философия на глубоких мест», « Блэк энд Уайт», «Сифилис», «Христофор Колумб», «Мексика», «Богомолье», «Мексика-Нью-Йорк», «Бродвей!, «Домой!» и др. Поэт восхищается техническими достижениями Америки.

— Такая гигантская техника, образец индустр-
стриализма, и такая духовная отсталость, чорт
возьми! Просто злость берет. Если б наши советские рабочие-
ские рабочиесссс и крестьяне хоть на одну треть
достигли такого развития машинизации. Какие
чудеса показали бы они! Они бы не одну новую
Америку открыли!.. («С Маяковским по 5-й
авеню», «Фрайгайт», Нью-Йорк, 14 августа 1925 г.
Перевод с еврейского).

Много написано о быте американцев.

Одеваешься при электричестве, на улицах —
электричество, дома в электричестве, ровно про-
резанные окнами, как рекламный плакатный трафарет. Непомерная длина домов и цветные мигаю-
щие регуляторы движения двоятся, троятся и де-
сятерятся асфальтом до зеркала вылизанным
дождем. В узких ущельях домов в трубе гудит
какой-то авантюристичный ветер, срывает, громы-
хает вывесками, пытается свалить с ног и убегает,
безнаказанный, никем не задержанный, сквозь
версты десятка авеню, прорезывающих Мангеттен
(остров Нью-Йорка) вдоль — от океана к Гудзону.
С боков подвывают грозе бесчисленные голосенки
узеньких стритов, так же по-линеечному ровно
режущих Мангеттен поперек, от воды к воде. Под
навесами, — а в бездождный день просто на тротуарах, — валяются кипы свежих газет, развезенные грузовиками заранее и раскиданные здесь
газетчиками.

По маленьким кафе холостые пускают машины тел, запихивают в рот первое топливо — торопливый стакан паршивого кофе и заварной бублик, который тут же в сотнях экземпляров кидает булкоделательная машина в кипящий и плюющийся котел сала.

Внизу сплошной человечиной течет, сначала до зари, — черно-лиловая масса негров, выполняющих самые трудные, мрачные работы. Позже, к семи — непрерывно белая. Они идут в одном направлении сотнями тысяч к местам своих работ. Только желтые просмоленный дождевики
желтыежжжжжбесчисленными
самоварамишумят и горят в электричестве, на, и не могут-
мокшие,,,,,,,, потухнуть даже под этим дождем.

Автомобилей, такси еще почти нет.

Толпа течет, заливая дыры подземок, выпирая в крытые ходы воздушных
в крытые ходы железных дорог, несясь
по воздуху двумя по высоте и тремя параллель-
ми ными воздушными курьерскими, почти безостановочны-
вочввввввввми, и местными через каждые пять кварта-
ловлов останавливающимися поездами.

Эти пять параллельных линий по пяти авеню несутся на трехэтажной высоте, а к 120-й улице вскарабкиваются до восьмого и девятого, — и тогда новых, едущих прямо с площадей и улиц, вздымают лифты. Никаких билетов. Опустил в высокую, тумбой, копилку-кассу 5 центов, которые тут же увеличивает лупа и показывает сидящему в будке меняле, во избежание фальши.

5 центов и езжай на любое расстояние, но в одном направлении.

Фермы и перекрытия воздушных дорог часто ложатся сплошным
лоллнавесом во всю длину улицы, и не видно ни неба, ни боковых домов, —
только грохот поездов по голове да грохот грузовозов перед носом-
возов перед носомззззззввввввввввввввввввввввввв, — грохот, в котором действительно не разберешь ни-
тттт слова, и, чтобы не раз-
учиться шевелить губами, остается безмолвно жевать американскую жвачку, чуингвам.

Утром и в грозу лучше всего в Нью-Йорке, — тогда нет ни одног зеваки, ни одного лишнего. Только работники великой армии труда десятимиллионного города-
миллионного.

Рабочая масса сползается по фабрикам мужских и дамских платьев, по новым роющимся тоннелям подземок, по бесчисленности портовых работ — и к 8 часам улицы заполняются бесчисленностью более чистых и хо-
 леных, с подавляю-щей примесью стриженых, голоколенных, с за
крученными чулками сухопарых девиц — работ
ниц контор и канцелярии магазинов. Их раскидывают по всем этажам небоскребов Дантауна, по
бокам коридоров, в которые ведет парадный ход
десятков лифтов. И опять – о том, как несправедливо устроено это общество в стихотворении «Небоскреб в разрезе»:

Я стремился

 за 7000 верст вперед,

а приехал

на 7 лет назад.

Стихотворение написано в 1925 году, а если отнять 7 лет – получится 1918, то есть «вернулся» почти в дооктябрьскую эпоху, в общество, где все и вся делится на «чистых» и «нечистых».

А десятки лифтов местного сообщения с останов
кой в каждом этаже и десятки курьерских — без
остановок до семнадцатого, до двадцатого, до
тридцатого. Своеобразные часы указывают вам
этаж, на котором сейчас лифт,— лампы, отмечающие красным и белым спуск и подъем.

И если у вас два дела, — одно в седьмом, другое — в двадцать четвертом этаже, — вы берете
местный (локал) до седьмого, и дальше, чтобы
не терять целых шести минут — пересядьте в экс-
пресс.

До часу стрекочут машины, потеют люди без
пиджаков, растут в бумагах столбцы цифр.

В час перерыв: на час для служащих и минут
на пятнадцать для рабочих.

Завтрак.

Каждый завтракает в зависимости от недельной зарплаты. Пятнадцатидолларовые — покупают су
хой завтрак в пакете за никель и грызут его со
всем молодым усердием.

Тридцатидолларовые идут в огромный механический трактир,-
ническийнннн всунув 5 центов, нажимают
кнопку, и в чашку выплескивается ровно отмеренный кофе, а еще-
ный два-три никеля открывают на огромных,
огоооустановленных едой полках одну из стеклянных дверок сандвичей.

Шестидесятидолларовые — едят серые блины
с патокой и яичницу по бесчисленным белым, как
ванная, Чайльдсам — кафе Рокфеллера.

Стодолларовые идут по ресторанам всех
национальностей — китайским, русским, ассирий-
ским, индусским — по всем, кроме
американских безвкусных, обеспечивающих катар-
тартры консервированным мясом Армора, лежащим
чуть не с войны за освобождение.

Стодолларовые едят медленно, — они могут и
опоздать на работу, — и после ухода их под сто-
лом валяются пузырьки от восьмидесятиградусного
виски (это прихваченный для компании); другой
стеклянный или серебренный пузырек, плоский и
формой облегающий ляжку, лежит в заднем кар-
ммане оружием любви и дружбы наравне с мексиканским кольтом.-
каннским кольтом

Как ест рабочий?

Плохо ест рабочий.

Многих не видел, но те, кого видел, даже
хорошо зарабатывающие, в пятнадцатиминутный
перерыв успевают сглодать у станка или перед заводской стеной на улице свой сухой завтрак.

Кодекс законов о труде с обязательным помещением для еды пока на Соединенные Штаты не распространился.

Напрасно вы будете искать по Нью-Йорку карикатурной, литературной прославленной организованности, методичности, быстроты, хладнокровия.

Вы увидите массу людей, слоняющихся по улице без дела. Каждый остановится и будет говорить с вами на любую тему. Если вы подымете глаза к небу и постоите минуту, вас окружит толпа, вас окружит толпа, с трудом усовещаемая полицейским.
Способность развлекаться чем-нибудь иным, кроме биржи сильно мирит меня с ньюйоркской толпой.

Снова работа до пяти, шести, семи вечера.

От пяти до семи самое бушующее, самое не
проходимое время.

Окончившие труд еще разбавлены покупщиками,
покупщицами и просто фланерами.

Там, куда развозят большинство рабочих и служащих, в бедных еврейских, негритянских, итальянских кварталах — на 2-й, на 3-й авеню, между первой и тридцатой улицами — грязь почище минской. В Минске очень грязно.

Стоят ящики со всевозможными отбросами, из которых нищие выбирают не совсем объеденные кости и куски. Стынут вонючие лужи и сегодняшнего и позавчерашнего дождя.

Бумага и гниль валяются по щиколку — не образно по щиколку, а по-настоящему, всамделишно.

Это в 15 минутах ходу, в 5 минутах от блестящей 5-й авеню и Бродвея.

Ближе к пристаням еще темней, грязней и опас
ней.

Днем это интереснейшее место. Здесь что-нибудь обязательно грохочет — или труд, или выстрелы или крики. Содрогают землю краны, разгружащие пароход, чуть не целый дом за трубу выволакивающие из трюма.

Отсюда поставляются грабители-голдапы на
Нью-Йорк: в отели — вырезывать из-за долларов
целые семьи, в собвей — загонять кассиров в
меняльной будки и отбирать дневную выручку,
меняя доллары проходящей, ничего не подозре
вающей публике.

Если поймают — электрический стул, тюрьмы
Синг-Синга. Но можно и вывернуться. Идя на грабеж, бандит заходит к своему адвокату и заявляет:

— Позвоните мне, сэр, в таком-то часу туда-то. Если меня не будет, значит надо нести за меня залог и извлекать из узилища.

Залоги большие, но и бандиты не маленькие и
организованы неплохо.

Выяснилось, например, что дом, оцененный
в двести тысяч долларов, уже служит залогом в два
миллиона, уплаченных за разных грабителей.

В газетах писали об одном бандите, вышедшем
из тюрьмы под залог 42 раза.

Негры, китайцы, немцы, евреи, русские — живут
своими районами со своими обычаями и языком,
десятилетия сохраняясь в несмешанной чистоте.

В Нью-Йорке, не считая пригородов, 1 700000
евреев (приблизительно),

1 000000 итальянцев,

500000 немцев,
300000 ирландцев,
300000 русских
250000 негров,
150000 поляков,
300000 испанцев, китайцев, финнов.

Загадочная картинка: кто же такие, в сущности
говоря, американцы, и сколько их, стопроцентных?

Сначала я делал дикие усилия в месяц загово-
рить по-английски; когда мои усилия начали увенчиваться-
чивать успехом, то близлежащие (близстоящие,
сидящие) и лавочник, и молочник, и прачечник, и даже полицейский — стали говорить со мной
по-русски.

Возвращаясь ночью элевейтором, эти нации и
кварталы видишь как нарезанные: на 125-й встают негры, на 90-й русские, на 50-й немцы и т. д.,
почти точно.

В двенадцать выходящие из театров пьют последнюю соду, едят последний айскрим и лезут домой в час или в три, если часа два потрутся в фокстроте или последнем крике «чарлстон». Но жизнь не прекращается, — так же открыты всех родов магазины, так же носятся собвей и элевейторы, так же можете найти кино, открытое всю ночь, и спите сколько влезет за ваши 25 центов.

Придя домой, если весной и летом, закройте окна от комаров и москитов и вымойте уши и ноздри и откашляйте угольную пыль. Особенно сейчас, когда четырехмесячная забастовка 158000 шахтеров твердого угля лишила город антрацита и трубы фабрик коптят обычно запрещенным к употреблению в больших городах мягким углем.

Если вы исцарапались, залейтесь йодом: воздух ньюйоркский начинен всякой дрянью, от которой растут ячмени, вспухают и гноятся все царапины и которым все-таки живут миллионы ничего не имеющих и не могущих никуда выехать...

«Я ненавижу Нью-Йорк в воскресенье: часов
в 10 в одном лиловом трико подымает штору на
против какой-то клерк. Не надевая, видимо, шта
нов, садится к окну с двухфунтовым номером
в сотню страниц — не то «Ворлд», не то «Таймса». Час читается сначала стихотворный и красочный отдел реклам универсальных магазинов (по которому составляется среднее американское миро-
созерцание), после реклам просматриваются отделы
краж и убийств».

Потом человек надевает пиджак и брюки, из-под
которых всегда выбивается рубаха. Под подбород-
ком укрепляется раз навсегда завязанный галстук
цвета помеси канарейки с пожаром и черным
морем. Одетый американец с час постарается по-
сидеть с хозяином отеля или со швейцаром
на стульях на низких приступочках, окружающих
дом, или на скамейках ближайшего лысого скверика.

Разговор идет про то, кто ночью к кому
ходил, не слышно ли было, чтобы пили, а
приходили и пили, то не сообщить ли о
на предмет изгона и привлечения к суду прелюбодеев и пьяниц.

К часу американец идет завтракать туда, где завтракают люди богаче его и где его дама будет млеть и восторгаться над пулярдкой в 17 долларов. После этого американец идет в сотый,
в разукрашенный цветными стеклами склеп генерала и генеральши Грандт или, скинув сапоги и пиджак, лежать в каком-нибудь скверике на про-
читанном полотнище „Таймса", оставив после себя обществу и городу обрывки газеты, обертку чуинг-
вама и мятую траву.

Кто богаче — уже нагоняет, аппетит к обеду,
правя своей машиной, презрительно проносясь
мимо дешевых и завистливо кося глаза на более
роскошные и дорогие.

Особенную зависть, конечно, вызывают у без-
родных американцев те, у кого на автомобильной
дверце баронская или графская золотая коронка.

Если американец едет с дамой, евшей с ним,
он целует ее немедля и требует, чтобы она цело-
вала его. Без этой «маленькой благодарности» он
будет считать доллары, уплаченные по счету, по-
траченными зря и больше с этой неблагодарной
дамой никуда и никогда не поедет. — и саму даму
засмеют ее благоразумные и расчетливые подруги.

Если американец автомобилирует один, он (писаная нравственность и целомудрие) будет замедлять ход и останавливаться перед каждой одинокой хорошенькой пешеходкой, скалить в улыбке
ло
лошажьи зубы и зазывать в авто диким вращением глаз. Дама, не понимающая его нервозности, будет
 квалифицироваться как дура, не понимающая
своего счастия, возможности познакомиться с обладателем стосильного автомобиля.

Дикая мысль — рассматривать этого джентльмена
как спортсмена. Чаще всего он умеет только
править (самая мелочь), а в случае поломки — не бу
дет даже знать, как накачать шину или как
поднять домкрат. Еще бы — это сделают за него бесчисленные починочные мастерские и бензинные киоски на всех путях его езды.

В
ообще в спортсменство Америки я не верю.

Сп
ортом занимаются главным образом богатые б
ездельницы

Правда, президент Кулидж даже в своей поездке
ежечасно получает телеграфные реляции о ходе состязаний между питсбургской командой и вашингтонской командой «сенаторов»; правда, перед вывешенными бюллетенями
футбольных состязаний народу больше, чем в другой стране перед картой военных действий только что начавшейся войны, — но это не интерес спортсменов, это — хилый интерес азартного, поставившего на пари свои доллары за другую команду.

И если рослы и здоровы футболисты, на которых
глядят тысяч семьдесят человек огромного ньюйоркского цирка, то семьдесят тысяч зрителей
это — в большинстве тщедушные и хилые люди, среди которых я кажусь Голиафом.

Такое же впечатление оставляют и американские солдаты, кроме вербовщиков, выхваляющих
плакатами привольную солдатскую жизнь. Недаром эти холеные молодцы в минувшую войну
отказывались влезть во французский товарный
вагон (40 человек или 8 лошадей) и требовали,
мягкий, классный.

Автомобилисты и из пешеходов побогаче и
поизысканее в 5 часов гонят на светский или
полусветский файф-о-клок.

Хозяин запасся бутылками матросского «джина»
и лимонада «Джиннер Эйл», и эта помесь дает
американское шампанское эпохи прогибишена.

Приходят девицы с завороченными чулками,
стенографистки и модели.

Вошедшие молодые люди и хозяин, влекомые
жаждой лирики, но мало разбирающиеся в ее тонкостях, острят так, что покраснеют и пунцо
вые пасхальные яйца, а потеряв нить разговора,
похлопываютппппохлопывают даму по ляжке с той непосредственностью, с которой, потеряв мысль, докладчик
постукивает папиросой о портсигар.

Дамы показывают колени мысленно прикидывают, сколько стоит этот человек.

Чтоб файф-о-клок носил целомудренный и артистический характер — играют в покер или рассматривают
последние приобретения хозяином
галстуки и подтяжки.

Потом разъезжаются по домам. Переодевшись,
направляются обедать.

Люди победнее (не бедные, а победнее) едят
получше, богатые — похуже. Победнее едят дома
свежекупленную еду, едят при электричестве,
точно давая себе отчет в проглачиваемом.

Побогаче — едят в дорогих ресторанах попер-
ченную портящуюся или консервную заваль, едят
в полутьме потому, что любят не электричество,
а свечи.

Эти свечи меня смешат.

Все электричество принадлежит буржуазии, а она
ест при огарках.

Она неосознанно боится своего электричества.
Она смущена волшебником, вызвавшим духов и не умеющим с ними справиться.

Такое же отношение большинства и к остальной
технике.

Создав граммофон и радио, они откидывают его
плебсу, говорят с презрением, а сами слушают
Рахманинова, чаще не понимают, но делают его
почетным гражданином какого-то города и препо-
дносят в золотом ларце — канализационных
акций на сорок тысяч долларов.

Создав кино, они отшвыривают его демосу, а сами гонятся за оперными абонементами в опере,
где жена фабриканта Мак-Кормик, обладающая
достаточным количеством долларов, чтобы делать
всевввсе, что ей угодно, ревет белугой, раздирая вам
уши. А в случае неосмотрительности капельдине-
ровввввввувров, закидывается гнилым яблоком и тухлым яйцом.

И даже, когда человек «света» идет в кино, он бессовестно врет
бвам, что бьл в балете или в голом ревю.

Миллиардеры бегут с зашумевшей машинами,
громимой толпами 5-й авеню, бегут за город в пока еще тихие дачные углы.

«— Не могу же я здесь жить, — капризно сказала мисс Вандербильд, продавая за 6000000 долларов свой дворец на углу 5-й авеню и 53-й улицы, — не могу я здесь жить, когда напротив Чайльдс, справа —
булочник, а слева — парикмахер.

После обеда состоятельным — театры, концерты
и обозрения, где билет первого ряда на голых дам стоит 10 долларов. Дуракам — прогулка
в украшенном фонариками автомобиле в китай
ский квартал, где будут показывать обыкновенные
кварталы и дома, в которых пьется обыкн
овеннейший чай — только не американцами, а китайцами.

Парам победнее — многоместный автобус на
»Кони-Айланд» — Остров Увеселений. После дол
гой езды вы попадаете в сплошные русские (у нас
американские) горы, высоченные колеса, вздымаю
щие кабины, таитянские киоски, с танцами и фо-
ном — фотографией острова, — чортовы колеса,
раскидывающие ступивших, бассейны для купаю
щихся, катание на осликах, — и все это в таком
электричестве, до которого не доплюнуть и ярчай-
шей международной парижской выставке».

В отдельных киосках собраны все отвратительнейшие уроды мира, — женщина с бородой,
человек-птица, женщина на трех ногах и т. п.,—
существа, вызывающие неподдельный восторг американцев.

Здесь же постоянно меняющиеся, за грош нанимаемые голодные женщины, которых засовывают в ящик, демонстрируя безболезненное
прокалывание шпагами; других сажают на стул с рычагами и электрифицируют, пока от их прикосновения к другому не посыплются искры.

Никогда не видел, чтобы такая гадость вызывала
бы такую радость.

Кони-Айленд — приманка американского девичества.

Скупые? Нет. Страна, съедающая в год одного
мороженого на миллион долларов, может приобрести себе и другие эпитеты.

Бог — доллар, доллар — отец, доллар — дух святой.

Но это не грошовое скопидомство людей, только
мирящихся с необходимостью иметь деньги, решив-
ших накопить суммочку, чтобы после бросить
наживу и сажать в саду маргаритки да проводить
электрическое освещение в курятники любимых
наседок. И до сих пор ньюйоркцы с удовольствием
рассказывают историю, 11-го года о ковбое Дай
монд Джиме.

Получив наследство в 250 000 долларов, он нанял
целый мягкий поезд, уставил его вином и всеми
своими друзьями и родственниками, приехал
в Нью-Йорк, пошел обходить все кабаки Бродвея, спустил в два дня добрых полмиллиона рублей и уехал к своим мустангам без единого цента
на грязной подножке товарного поезда.

Нет! В отношении американца к доллару есть поэзия. Он знает, что доллар — единственная сила
в его стодесятимиллионной буржуазной стране
(в других тоже), и я убежден, что, кроме известных всем свойств денег, американец эстетически любуется зелененьким цветом доллара, отождествляя его с весной, и бычком в овале, кажущимся ему портретом крепыша, символом довольствия. А дядя Линкольн на долларе и возможность для каждого демократа пробиться в такие же
люди делает доллар лучшей и благороднейшей страницей, которую может прочесть юношество. При встрече американец не скажет вам безраз-
личное:

— Доброе утро.

Он сочувственно крикнет:

— Мек моней? (Делаешь деньги?) — и пройдет
дальше.

Американец не скажет расплывчато:

— Вы сегодня плохо (или хорошо) выглядите.

Американец определит точно:

— Вы смотрите сегодня на два цента.

Или:

— Вы выглядите на миллион долларов. О вас не скажут мечтательно, чтобы слушатель терялся в догадках — поэт, художник, философ.

Американец определит точно:

— Этот человек стоит 1 230 000 долларов.

Этим сказано все: кто ваши знакомые, где вас
принимают, куда вы уедете летом и т.д. Все на продажу!

Путь, каким вы добыли ваши миллионы, безразличен в Америке. Все — бизнес, дело, — все, что растит доллар. Получил проценты с разошедшейся поэмы — бизнес, обокрал, не поймали — тоже.

К бизнесу приучают с детских лет. Богатые родители радуются, когда их десятилетний сын, забросив книжки, приволакивает домой первый доллар, вырученный от продажи газет.

— Он будет настоящим американцем.

Газеты созданы трестами; тресты, воротилы трестов запродались рекламодателям, владельцам
универсальных магазинов. Газеты в целом проданы
так прочно и дорого что американская пресса считается неподкупной. Нет денег, которые могли бы
перперекупить уже запроданного журналиста.

А если тебе цена такая, что другие дают больше, — докажи и сам хозяин набавит...

…В одном только Нью-Йорке выходит 1500различных газет и журналов. Больше, чем на 90% это — буржуазная пресса наипохабнейшего направления. Американский репортер — это что-то вроде старого «ростовского жулика»… Что же до американской прессы, то она живет сенсациями, убийствами и т.д. Убийства, кстати, там случаются каждый день но если бы их не было, это было бы убийством для американской прессы. Американские журналисты выглядят не такими продажными, как французские, но это от того, что американские газеты продаются целиком, вместе со своими хозяевами, раз и навсегда.

Страна такого всепоглощающего потребления не могла вызвать особого расположения поэта. А в стихотворении «Вызов» (1925) Маяковский заявляет:

Я

полпред стиха

и я

с моей страной

вашим штатишкам

бросаю вызов.

 Каков же вызов этим «штатишкам»? В Америке были, конечно, у поэта выступления, лекции, поездки в крупнейшие рабочие центры страны – Нью-Йорк, Чикаго, Детройт, Кливленд, Питтсбург, Филадельфию. Встречи с рабочим, коммунистами, видевшими в поэте прежде всего представителя нового общества, многим тогда казавшегося столь притягательным. Отзывы в газетах, интервью. В самом стихотворении «Вызов» есть и облечение «капитала – его препохабия», и посылка «к чертям свинячим всех долларов всех держав». Но есть и вызов другого рода:

…Нам смешны

дозволенного зоны.

Взвод мужей,

остолбеней,

цинизмом поражен!

Мы целуем –

беззаконно! –

над Гудзоном

ваших

длинноногих жен…

Поэт в прозаичном, «смешном», зашифрованном виде сообщает о важнейшем в его личной жизни событии. Здесь, в Америке (вдали от Бриков), Маяковский встретил и полюбил женщину – Элли Джонс (Елену Петровну Зиберт, 1904-1985), из русских немцев, покинувших Россию в первые годы после революции. Все время пребывания Маяковского в Америке они были вместе. Не простым было их расствание. Елизавета и Владимир уже знали, что у них скоро будет ребенок. Поэтому стихотворение «Домой» (1925), написанное на пароходе, увозившем Маяковского их Америки обратно в Европу, начинается стихами, выражающими смятение поэта:

Уходите, мысли, восвояси.

Обнимись,

души и моря глубь.

Тот,

кто постоянно ясен, −

тот,

по-моему,

просто глуп.

15 июня 1928 года у Маяковского и Элли Джонс в США родилась дочь Хелен-Патриция. Сохранилась (не полностью) переписка родителей. Но их разделяет огромное пространство – океан… Они встретятся еще раз, в 1928 году, во Франции. Но, к сожалению, будущего у их любви не было. И его любовь – тайна для окружающих.

А в выступлении уже после поездки в Америку у киевских рабкоров – только о злободневном:

«…Про меня там распространялась всякая чепуха, а когда я спросил репортера — почему он еще не написал, что я, например, убил свою тетку, он задумался и сказал — и правда, почему не написал?» (Отчет о выступлении Маяковского у киевских рабкоров. «Пролетарская правда», Киев, 2 февраля 1926).

...Типичным бизнесом и типичным ханжеством назовем и американскую трезвость, сухой закон «прогибишен».

Виски продают все.

Зайдете даже в крохотные трактирчик, вы увидите на всех столах надпись: «Занято». Когда в этот же трактирчик входит умный, он пересекает его, идя к противоположной двери. Ему заслоняет дорогу хозяин, кидая серьезный вопрос:

— Вы джентльмен?

— О да! — восклицает посетитель, предъявляя зелененькую карточку.

Это члены клуба (клубов тысячи), говоря просто — алкоголики, за которых поручились. Джентльмена пропускают в соседнюю комнату, — там с засученными рукавами уже орудуют несколько коктейльщиков, ежесекундно меняя приходящим
содержимое, цвета и форму рюмок длиннейшей стойки.
Тут же за двумя десятками столиков сидят завтракающие, любовно оглядывая стол, уставленный всевозможной питейностью. Пообедав, требуют:
— Шу бокс! (Башмачную коробку!) — и выходят из кабачка, волоча новую пару виски.
За чем же смотрит полициях?

За тем, чтобы не надували при дележе. У последнего пойманного оптовика «бутлегера» было на службе 240 полицейских.

Когда говорят «Америка», воображению представляются Нью-Йорк, американские дядюшки, мустанги, Кулидж и т.п. принадлежности Северо- Американских Соединенных Штатов.

Странно — потому, что Америк целых три: Северная, Центральная и Южная.
С.-А. С. Ш. не занимают даже всю Северную — а вот поди ж ты! — отобрали, присвоили и вместили название всех Америк. Верно потому, что право называть себя Америкой Соединенные Штаты взяли силой, дредноутами и долларами, нагоняя страх на соседние республики и колонии. Только за одно мое короткое трехмесячное пребывание американцы погромыхивали железным кулаком перед носом мексиканцев по поводу мексиканского проекта национализации своих же неотъемлемых земельных недр; посылали отряды на помощь какому-то правительству, прогоняемому венецуэльским народом; недвусмысленно намекали Англии, что в случае неуплаты долгов может трещать хлебная Канада; того же желали французам, и перед конференцией об уплате французского долга то посылали своих летчиков в Марокко на помощь французам, то вдруг становились мараканцелюбцами и из гуманных соображений отзывали летчиков обратно.

В переводе на русский: гони монету и, получи, летчиков.
Что Америка и С.-А. С. Ш. одно и то же — знали все. Кулидж только оформил это дельце из последних декретов, назвав себя и только себя американцами. Напрасен протестующий рев десятков республик и даже других Соединенных Штатов (например Соединенные штаты Мексики), образующих Америку.
Слово «Америка» теперь окончательно аннексировано.

Но что кроется за этим словом?

Что такое Америка, что это за американская нация, американский дух?..

**100%**

Шеры…

облигации…

доллары…

центы…

В винницкой глуши тьмутараканьясь,

Так я рисовал,

вот так мне представлялся

стопроцентный

американец.

Родила сына одна из жен.

Отвернув

пеленочный край,

акушер демонстрирует:

Джон, как Джон.

Ол райт!

Девять фунтов,

глаза —

пятачки.

Ощерив зубовный ряд,

отец

протер

роговые очки:

Ол райт!

Очень прост

воспитанья вопрос,

Ползает,

лапы марает.

Лоб расквасил —

ол райт!

нос —

ол райт!

Отец говорит:

«Бездельник Джон.

Ни цента не заработал,

а гуляет!»

Мальчишка

Джон

выходит вон.

Ол райт!

Техас,

Калифорния,

Массачузэт.

Ходит

из края в край.

Есть хлеб —

ол райт!

нет —

ол райт!

Подрос,

поплевывает слюну.

Трубчонка

горит, не сгорает.

«Джон,

на пари,

пойдешь на луну?»

Ол райт!

Одну полюбил,

назвал дорогой.

В азарте

играет в рай.

Она изменила,

ушел к другой.

Ол райт!

Наследство Джону.

Расходов —

рой.

Миллион

растаял от трат.

Подсчитал,

улыбнулся, —

найдем второй.

Ол райт!

Работа.

Хозяин —

лапчатый гусь —

обкрадывает

и обирает.

Джон

намотал

на бритый ус.

Ол райт!

Хозяин выгнал.

Ну, что ж!

Джон

рассчитаться рад.

Хозяин за кольт,

а Джон за нож.

Ол райт!

Джон

хозяйской пулей сражен.

Шепчутся:

«Умирает».

Джон услыхал,

усмехнулся Джон.

Ол райт!

Гроб.

Квадрат прокопали черный.

Земля —

как по крыше град.

Врыли.

Могильщик

вздохнул облегченно.

Ол райт!

Этих Джонов

нету в Нью-Йорке.

Мистер Джон,

жена его

и кот

зажирели,

спят

в своей квартирной норке,

просыпаясь

изредка

от собственных икот.

Я разбезалаберный до крайности,

но судьбе

не любящий

учтиво кланяться,

я,

поэт,

и то американистей

самого что ни на есть

американца.

Отъезд. Пристань компании «Трансатлантик» на конце 14-й улицы.

Отплывал машущий платкам, поражающий при въезде Нью-Йорк.

Замахнулась кулаком с факелом американская баба-свобода, прикрывшая задом тюрьму Острова Слез.

На обратном безлюдии он старался оформить основные американские впечатления.

ПЕРВОЕ. Футуризм голой техники, поверхностного импрессионизма дымов да проводов, имевший большую задачу революционизирования застывшей, заплывшей деревней психики, — этот первобытный футуризм окончательно утвержден Америкой.

Перед работниками искусства встает задача Лефа: не воспевание техники, а обуздание ее во имя интересов человечества. Не эстетическое любование железными пожарными лестницами небоскребов, а простая организация жилья.

Что автомобиль?.. Автомобилей много, пора подумать, чтобы они не воняли на улицах.

Не небоскреб — в котором жить нельзя, а живут.

С-под колес проносящихся элевейторов плюет пыль, и кажется поезда переезжают ваши уши.

Не грохот воспевать, а ставить

глушители — нам, поэтам, надо разговаривать в вагоне.

Безмоторный полет, беспроволочный
 телеграф, радио, бусы, вытесняющие рельсовые трамваи, собвей, унесшие пол землю всякую
 видимость.

Может быть
завтрашняя техника, умильонивая силы человека, пойдет по пути уничтожения строек, грохота и прочей технической внешности.

ВТОРОЕ. Разделение труда уничтожает чело-
вечессвеческую квалификацию. Капиталист, отделив и выделив материально дорогой ему центр рабочих
 (специалисты, желтые заправилы союзов и т.д.), с остальной рабочей массой обращается как с неисчерпаемым товаром.

Хотим — продадим, хотим — купим. Не согласитесь работать — выждем, забастуете — возьмем других. Покорных и способных облагодетельствуем,
непокорным — палки казенной полиции, маузеры

и кольты детективов частных контор.

Умное раздвоение рабочего класса на обыкно
венных и привилегированных, невежество трудом
высосанных рабочих, в которых после хорошо организованного дня не остается силы, нужной даже для мысли; сравнительное благополучие рабочего, выколачивающего прожиточный
минимум; несбыточная надежда на богатство в будущем, смакуемая усердными описаниями вышедших из чистильщиков миллиардеров настоящие военные крепости на углах многих улиц — грозное слово «депортация» далеко отдаляют какие бы то ни было веские надежды на революционные взрывы в Ам
ерике. Разве что откажется от каких-нибудь оплат долгов революционная Европа. Или на одной
вытянутой через Тихий океан лапе японцы начнут подстригать когти (предвидел).

ТРЕТЬЕ. Возможно, фантастика. Америка жиреет. Люди с двумя миллиончиками долларов считаются небогатыми начинаюшими юношами.

Деньги взаймы даются всем — даже римскому папе, покупающему дворец напротив, дабы любопытные не заглядывали в его папские окна.

Эти деньги берутся отовсюду, даже из тощего кошелька американских рабочих.

Банки ведут бешеную агитацию за рабочие вклады.

Эти вклады создают постепенно убеждение, что надо заботиться о процентах, а не о работе.

Бывшие рабочие, имеющие еще неоплаченный рассрочный автомобиль и микроскопический домик, политый потом до того, что неудивительно, что он вырос и на второй этаж, — этим бывшим может казаться, что их задача — следить, как бы не пропали их папские деньги.

Может статься, что Соединенные Штаты сообща станут последними вооруженными защитниками безнадежного буржуазного дела, — тогда история сможет написать хороший, типа Уэльса, роман «Борьба двух светов».

Цель очерков — заставить в предчувствии далекой борьбы изучать слабые и сильные стороны Америки…